Огневица

Поморский счет



Ирина Бодякшина

Огневица

«Автор»
2026

Бодякшина И. В.

Огневица / И. В. Бодякшина — «Автор», 2026

У воды и огня нет общего сюжета. Только общая память и один счёт.Огонь кланяется перед смертью, ведёт счёт по именам и забирает тех, кого род забыл помянуть. Вода ведёт счёт по головам промысла и не отпускает тех, кто ушёл в море, но вернулся не тем.Это цикл повестей о поморском береге, где прошлое не прощает ошибок. Где старые книги хранят выскобленные имена, а огонь в лампаде может погаснуть, если вовремя не вписать нужную строку.Здесь нет волшебных палочек. Только соль, сети, старые метрические книги и люди, которые пытаются удержать свой род на краю земли.Каждая повесть- самостоятельная история. Но всех их связывает одно правило: пока помнишь имя, ты в счёте.

© Бодякшина И. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая 6
Глава вторая 9
Конец ознакомительного фрагмента. 11

Ирина Бодякшина
Огневица

Название: Огневица
Автор(-ы): Ирина Бодякшина
Ссылка: https://author.today/work/691271

Глава первая

Огонь в лампаде кланялся перед смертью.

Бабушка так говорила. Я двадцать лет жила в Петербурге и не проверяла. А тут проверила: пламя в красном стекле встало, поклонилось в пояс и легло. Я стояла в сенях с ведром и подумала: сквозняк.

К ночи бабушки не стало.

Телеграмма пришла в пятницу. МАТЬ ЛИЗА ПЛОХО ПРИЕЗЖАЙТЕ. Без запятых. Не «умерла» – «плохо». У нас на Терском берегу так и говорят. Под это слово подходит и жар, и старость, и то, чего назвать нельзя. Я взяла билет на вечернюю электричку, потом автобус до Умбы, потом попутку до самого Волокового. Дорога заняла сутки. Всю дорогу я думала о дате. Я двадцать лет пишу даты: строка, графа, число, подпись. Перо не дрожит. Имя не читается дважды.

Деревня почти вымерла. Раньше в Волоковом было сто дворов, теперь двадцать, зимой меньше. Мой дом – крайний у устья, сруб тёмный, до половины в земле, труба кривая, к морю. Дед Лукьян рубил его в девятьсот четырнадцатом. С тех пор крышу перекрывали трижды, а угол не трогали: дедов угол. В печи дедово кирпичное устье, и по нему вся печь держится.

Бабушка была в разумении. Лежала лицом к окну, лицо белое, как бумага против света. Увидела меня и не удивилась.

– Аннинка, – сказала она. – Дату не пиши. Покеда я велю.

Я не поняла.

– Какую дату?

– Всякую.

Я села рядом. Из переднего угла пахло керосином и теплотой, как из-подпечья. Лампада стояла к иконе, керосиновая, со стеклом цвета запёкшейся крови. Горела не мигая. Я заметила это ещё на пороге: огонь стоял столбом и не шевелился. В детстве я думала, её на ночь гасят. Теперь мне был сорок один год, и я узнала: с девятьсот шестнадцатого года, со деда Лукьяна, огонь не гас ни разу. Его доливали с одной руки. На него боялись дышать поперёк.

– Он у нас как веретено, – сказала бабушка. – Не украшение. Работа.

– Что за работа?

Она не ответила. Полежала, глядя в окно, и сказала другое:

– Ты огонь видала?

– Вижу сейчас.

– Не тот. Настоящий. Ты его покеда не видала.

– А где он?

– Там, где надо. Придёт – увидишь.

Она закрыла глаза. Я поправила одеяло, вышла в сени за водой. Пока черпала ведром, в избе чуть сквозило из-под двери. Пламя встало, поклонилось в пояс и легло. Я сняла с гвоздя полотенце, вытерла руки. Внутри было пусто и тихо.

Я тогда не знала, что так огонь читает.

Бабушки не стало к ночи. Тихо, без стона. Я сидела рядом до последнего, держала её за руку. Рука была тёплая, тёплее избы. Потом остыла.

По-здешнему говорили бы: огонь отпустил.

Хоронили в четверг. Полсела пришло, и я не узнала ни одного лица. Семнадцать лет – срок. Кто-то сзади сказал: «Прасковьюшка-то всё лампаду носила, как вдова мужа». Я обернулась – старуха, платок набок, смотрит мимо меня на гроб.

Тётку Лизу я узнала по тому, как она стояла. Чуть на отлёте, лицом к морю. Она всегда так стояла, будто берег ей что-то говорил, а она не договаривала. В конце отпевания она взяла меня под локоть и повела за ограду. Рука была лёгкая, почти без веса.

– Дом твой огонь держит, – сказала она. – Слышишь? Держит. Матеря твоя до последнего держала. Теперь твоя очередь.

– Что значит «держит»?

– Как держат, так и держат. Ты по-городскому не спрашивай. По-здешнему спрашивай.

По-здешнему я спросить не могла. Я умею спрашивать по-служебному: фамилия, дата, причина. Тысячи смертей записаны моей рукой, и все они лежат ровно, как деньги в пачке. Моя смерть – ни в одной графе.

– А ты дома-то, – сказала Лиза, – лампаду покеда не трогай. Пусть горит. Увидишь, что будет, – ко мне иди.

– Что будет?

– Придёт – увидишь.

Опять «придёт». Я кивнула и не спросила больше ничего.

По-здешнему спрашивать учатся не словами.

Работник пришёл в воскресенье.

Постучал в стекло сеней три раза – вежливо, как стучат не к жильцу, а к дому. Я отворила. На крыльце стоял человек лет пятидесяти, в брезентовой куртке, под курткой – фуфайка серая, поверх – ничего. Морщины у него шли поперёк. Сапоги – не рыбачьи: без гуталина, сухие, хоть по поясному снегу шёл.

– Чайку бы, – сказал он. – С дороги.

Я пустила. Не потому что добрая. Потому что в час по чужому человеку на берег не проходят, а он шёл пешком – я слышала шаги ещё от устья, метрах в двухстах, скрип по насту. Шаги были ровные, будто он нёс в руках воду и не расплёскивал.

Он сел к столу, чай выпил, сахар не тронул. Всё время смотрел в передний угол – на лампаду, не на меня. Лампада горела ровно, как горела. Он смотрел на неё так, как смотрят на письмо, которое прочли много раз.

– Далеко идёшь? – спросила я.

– Недалеко. Сюда иду.

– Куда сюда?

– К огню.

Я рассмеялась. Смеяться было нечего, но я рассмеялась – у нас в отделе так и делают, когда страшно. Он не обиделся. Поставил стакан на блюдце, вытер губы ладонью – по-мужицки, от уха к уху.

– Чей дом? – спросил он.

– Мой. Дедов.

– Лукьянов?

Я замолчала. Дедово имя никто из живых не должен был знать: оно ни в одной метрике не значилось. Я спросила об этом позже, у тётки Лизы. Она ответила просто: у нас всё знают, только не всем говорят.

– Чей огонь? – повторил он.

– Наш, – сказала я. – Незабытый.

Он кивнул, как кивают на точный ответ. Встал, подошёл к переднему углу. Открыл стекло лампады. Взял фитиль пальцами и затушил.

Пальцами, как гасят свечу.

Масло на месте. Стекло цело, но огня нет. Изба сделалась тихая – не тихая, как бывает в доме, а пустая, как изба после выноса пожитков: стоит, а дома нет.

– Ты кто? – спросила я.

– Работник, – сказал он. – Мне сказано было: огонь у вас неугасимый. А он, вишь, угас.

И вышел. Я побежала за ним на крыльцо. Крыльцо пусто. Туман от берега идёт, и по туману не слышно, чтобы человек уходил. Шагов нет. Наст скрипит под кем-то другим – я слышала – но того другого не видно.

Я вернулась в избу. Встала перед лампадой. Фитиль был целый, масло целое, стекло тёплое.

К вечеру я зажгла лампаду спичкой. Огонь встал белый и смотрел на меня.

В понедельник я к нему не притронулась.

Глава вторая

После похорон я осталась в доме. Не потому что хотела: тётка Лиза сказала, девять дней дом должен стоять на огне. Что значит «на огне», я не спросила. По-здешнему спрашивать я не умела.

Три дня я жила как жили. Вставала затемно, топила печь, кипятила воду. Огонь в лампаде горел ровно, с того вечера, как я зажгла его спичкой. Белый, прямой, не мигающий. Я к нему не притрагивалась, но проходя мимо переднего угла каждый раз видела: он стоит столбом, как стоял, и светит в пол-избы. Керосина в лампаде было на ладонь, и я ждала, что он сгорит, – не сгорел.

Ночью я не спала. В избе было тепло, а я лежала в пальто поверх одеяла. Слушала, как дом скрипит по-старому, по-дедовскому, как вода в проруби у берега ударяет в лёд и смиряется. Три ночи подряд мне снилось одно и то же: я стою в актовой зале, передо мной человек в брезентовой куртке, и он протягивает мне документ без фамилии. Я переворачиваю страницу – там нет фамилии. Я переворачиваю другую – нет даты. Только строка, пустая и длинная. Я беру перо и не пишу. Просыпаюсь с сухой рукой.

На третий день пришла Праскева.

Стучалась в стекло, три раза, как тот работник. Я отворила. На крыльце стояла старуха в тёмном платке, с узлом в руках. Морщин у неё было столько, что лицо казалось из них сделанным.

– Чайку бы, – сказала она. – С дороги.

Слово в слово, как работник. Я пустила. Праскева села к столу, чай выпила, сахар не тронул. Посмотрела в передний угол – на лампаду, не на меня, – и кивнула, как кивают встречному.

– Горит, – сказала она.

– Горит.

– Пошто жгла?

Я замолчала. Я не знала, что ответить. Она ждала, сложив руки на столе, сухие, узловатые. Я сказала правду:

– Погасил работник. Я зажгла обратно.

Праскева кивнула ещё раз.

– Зря, – сказала она. – Покеда он сам не велит, не жгут. Жгут – на себя.

– Что значит «на себя»?

Она не ответила. Допила чай, отодвинула стакан на блюдце и посмотрела на меня внимательно, как смотрят на документ перед подписью.

– Лукьяново дело открывала?

– Какое дело?

– На полатку сходи. Ларец. Что найдёшь – то и дело.

И встала. Я не успела спросить ни про Лукьяна, ни про полатку. Она ушла, не попрощавшись, и у крыльца обернулась вполоборота – не на меня, на лампаду:

– Одна беда, – сказала она в избу, не в окно. – В понедельник он меняет хозяев.

И пошла. Я выбежала следом. Тумана не было, было ясно, но Праскевы на улице не было. Она не могла пройти за столько секунд ни в один конец деревни. Я стояла на крыльце, снег под ногами был чистый, без следов. Мои следы, и всё.

На полатку я поднялась в тот же час.

Полатки – широкие, под самой крышей, лаз от печи. Ларец стоял под ватниками, где бабушка держала самое ценное: отрез на саван, крестики, пуговицы от дедова мундира. Ларец

был берёзовый, без оковки, дедовой работы. Открылся легко – я ждала, что замок зарос, а он открылся, как будто его открывали вчера.

Внутри три книги.

Толстая хозяйственная, в роговой коже: рождение, смерть, свадьбы, цены на рыбу по годам, сколько семги взяли в петров пост. Вторая – тетрадь в клетку, школьная, чья-то. Третья – тонкая, в синей обложке, бумага серая, стоптанная. Лампадная. Я поняла это по строчкам: ровные, в столбик, по числам, каждая строка – с новой строки. Так пишут не заметки. Так пишут счёт.

Я открыла хозяйственную. Записи шли с девятьсот четырнадцатого года. Дедов почерк – крупный, твёрдый, с нажимом. Рождения – по краям листа. Смерти – по центру, с числом и причиной. На одной странице я нашла своё рождение: Аннина, дочь Николая, рода Ветлицких. Внизу, другой рукой, мельче, бабушка приписала: «В списки не вносить».

Я не поняла, в какие списки. Приписка была уже старая, чернила выцвели.

Тетрадь в клетку я не открывала: школьная, пустая или не пустая, не моё дело. Я открыла лампадную, синюю. Строки шли по числам. Почерк ровный, бабушкин, но моложе, чем тот, что я знала. Первая строка – девятьсот шестнадцатый год: «Лукьян. Сын Тимофеев. Из рода Ветлицких. Поминовение». Дальше – имена, годами, в столбик. Я читала и не могла остановиться: Тамара. Степанида. Никодим. Семён. Ульяна. Имя, год, иногда место – «на промысле», «у воды», «в лесу». Ни одной причины. Ни одной даты смерти.

На предпоследней странице – свежими чернилами, поверх старых строк, – посреди листа: **«Аннина. 23 октября 2009»**.

Даты смерти при ней не было. Число одно.

Я сидела с тетрадью до темноты. Печка прогорела, я не заметила. Двадцать третьего октября двухтысяч девятого мне было двадцать три. В тот день у нас в отделе принимали акт о смерти соседки снизу. Я помню: ручка замёрзла на лестнице, строка вышла с нажимом. Я помню этот день до мелочей, потому что в тот день я впервые переписывала страницу набело.

Бабушка записала дату. Мою. Без слова «смерть» – просто имя и число, как пишут в лампадной книге. Она не знала, когда. Она вписала, что я в счёте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.